



Всеволод Петров  
Турдейская Манон Леско

Издательство Ивана Лимбаха



Всеволод Петров  
**Турдейская Манон Леско**

«Издательство Ивана Лимбаха»

1946

УДК 821.161.1-3 «19»  
ББК 84.3 (2 = 411.2) 6-4

**Петров В. Н.**

Турдейская Манон Леско / В. Н. Петров — «Издательство Ивана Лимбаха», 1946

ISBN 978-5-89059-249-1

Написанная в 1946 году искусствоведом Всеволодом Николаевичем Петровым (1912–1978) любовная повесть о войне, или военная повесть о любви, силой двух странно родственных чувств – страха исчезновения и тоски очарования – соединяет «жизнь» (санитарный поезд, блуждающий между фронтами) и «поэзию» («совершенный и обреченный смерти» XVIII век) в «одно», как в стихотворении Жуковского, давшем этой повести эпиграф, или как на «свободной от времени» картине Ватто. Издание дополняют воспоминания В. Н. Петрова о Николае Пунине, Анне Ахматовой, Михаиле Кузмине, Данииле Хармсе и Николае Тырсе, а также статьи Олега Юрьева и Андрея Урицкого о загадке «Турдейской Манон Леско».

УДК 821.161.1-3 «19»  
ББК 84.3 (2 = 411.2) 6-4

ISBN 978-5-89059-249-1

© Петров В. Н., 1946  
© Издательство Ивана Лимбаха, 1946

## Содержание

Турдейская Манон Леско	5
I	6
II	7
III	8
IV	9
V	10
VI	11
VII	13
VIII	14
IX	16
X	18
XI	20
XII	22
XIII	24
XIV	25
XV	27
XVI	29
XVII	30
XVIII	32
XIX	33
XX	36
XXI	38
XXII	40
XXIII	42
Конец ознакомительного фрагмента.	44

# **Всеволод Николаевич Петров**

## **Турдейская Манон Леско**

### **Турдейская Манон Леско**

#### *История одной любви*

#### *Повесть*

*Посвящается памяти Михаила Алексеевича Кузмина*

*Не умерло очарованье...*

*Жуковский*

Повесть Всеволода Николаевича Петрова «Турдейская Манон Леско» и послесловие к ней Владимира Эрля и Николая Николаева печатаются по тексту первой публикации (Новый мир. 2006. № 11)

## I

Я лежал на полатах, вернее, на нарах, устроенных в нашей теплушке. Слева была стена, справа лежал мой товарищ, Асламязян, прикомандированный к военному госпиталю, как и я. За ним лежали две докторши, за теми – Левит, аптекарь. Напротив были такие же нары, на которых тоже лежали тела.

Внизу, под нарами, жили дружинницы.

Это были грубые девушки, большей частью лет восемнадцати-двадцати. Они громко ссорились между собой и задирали верхних жильцов. Потом хватали гитару и хором пели всевозможные песни. На станциях они завязывали молниеносные романы с военными из встречных эшелонов.

Сверху мне хорошо было видно середину вагона, где главным образом шла жизнь. Там стояла железная печь, и все толпились вокруг нее с котелками. Там же лежали дрова, служившие вместе и стульями. Ссоры начинались именно там; ушедший на нары считался выбывшим с поля сражения; больше некуда было уйти; если ушедший молчал и тихо лежал, его признавали как бы отсутствующим. Его можно было даже ругать, как это делают за глаза. На это не обижались. Мириться выходили тоже к печке: тут была единственная живая горящая точка в огромном и мертвом пространстве мороза и снега.

## II

Мы ехали так долго, что мало-помалу теряли счет времени. Нас перевозили на новый фронт. Никто не знал, куда нас направляют. Ехали от станции к станции, как будто заблудились. О нас, должно быть, забыли.

Поезд шел, иногда подолгу стоял. Кругом стояли поля и леса в снегу, разрушенные станции. Часто я слышал разрывы, иногда вдалеке, иногда почти рядом.

Время пошло как-то вкось: не связывало прошлого с будущим, а куда-то меня уводило. Вокруг меня были люди, чужие жизни, нигде не соприкасавшиеся с моей.

### III

Капитанша – жена капитана Фомина, очень крупная женщина с лицом убийцы, – вынимала из одеял свою золотушную девочку и звучно била ее большими руками под оглушительный визг, а после пускала ходить по вагону, и тогда нужно было беречься: девочка спотыкалась и с ревом валилась, а мать, как разъяренная слониха, кидалась на помощь и сокрушала и топтала все на пути.

Левит садился у печки обязательно так, чтобы, кроме него, никто не мог туда сесть; так же его котелки не терпели соседства на печке. Он ходил по вагону особенно: сначала говорил «извиняюсь», а потом наступал сапогами кому-нибудь в суп. На нарах он лежал не вдоль, как все, а как-то вбок, раскладывая ноги на соседнюю территорию докторш. Он засыпал с густым храпом, как только приляжет на нары, и во сне перекатывался вправо и влево, спихивая все, но достаточно было кому-нибудь сказать потихоньку «Левит», как он немедленно прекращал храп и весьма кстати и впопад отвечал. Покушение самое невинное – например, переставить его чемодан – он пресекал ужасной руганью, брызгая слюной на весь вагон, так что шипела печка, и не начинал драки только потому, что был уже немолод и дрябло сложен. Но, оградив надлежащим образом свою собственность и себя самого, он делался мил и с удовольствием пел в хоре с сестрами; однажды даже сплясал.

Докторши что-то шили.

Галопова, немолодая сестра, заранее была на всех обижена. Ей казалось, что девочка Фоминых сверху плюет на нее. Это, может быть, и бывало.

– Что вы смеетесь? Я не смешнее вас, – говорила Галопова, если кто-нибудь улыбался.

– Мы совсем не над вами, – говорили ей.

– А я знаю, что надо мной. Во мне ничего смешного нет, – отвечала Галопова.

В другое время она брала гитару и разучивала единственную свою песню:

Что стоишь, качаясь,  
Веетхая рябина.

Песня ей никак не давалась. Если ее просили перестать, она с особенным старанием допевала до конца и сразу же опять начинала с начала.

– Я ничем не хуже других, – объясняла Галопова.

Мой сосед Асламазян был, напротив, рыцарем. Он очень картинно спал, раскинувшись на спине и заложив себе руку под голову. Он всем помогал открывать и закрывать нашу дьявольски тяжелую вагонную дверь. Днем он обычно лежал на нарах босой, подняв к потолку растопыренные пальцы ног. Он был усатый, черный, коренастый и сильный. Многие сестры хотели закрутить с ним роман, но он на это не поддавался и был одинаково мил со всеми. Он был тоже охотник спеть в хоре, но, правда, никогда не плясал.



## IV

Девушки были менее разнообразны.

Так, по крайней мере, я думал, когда смотрел на них с нар.

У них была своя жизнь, полная птичьего легкомыслия. Под нарами они копошились, перебирались, укладывались и шевелились, как птицы.

Разговор их сплошь состоял из каких-то стремительных намеков и умолчаний. Тут же, впрочем, слышалась и самая солдатская ругань.

Я не сразу стал различать, кто из них Аня, кто Надя, кто Таня. Все были розовые, смешливые, скорые на слово. Бледной была только Вера Мушникова, самая быстрая, тоненькая и порывистая. Каждую минуту она начинала что-нибудь новое: то схватит маленькую Лариску, девочку Фоминых, то кинется к гитаре, то надумает пересмотреть свои наряды, вытащит их, раскидает и бросит, то перессорится с подругами, то снова их обнимает. На станциях она первая выпрыгивала из вагона и куда-то пропадала; случалось, что совсем отстанет и догонит нас на каком-нибудь паровозе.

Мы приехали в Л\*\*\* и надолго застряли на запасных путях. Там уже стояли военные эшелоны. Солдаты по двое, по трое гуляли около поездов.

Девушки стали исчезать из вагона. Даже Галопова нашла себе поклонников и утвердилась в убеждении, что она не хуже других. Мимо нашей теплушки часто ходили кавалеристы. Один из них особенно был хорош: девятнадцатилетний малый в полушубке, с шашкой и шпорами, с румяным и наивным лицом, какие бывают на картинках, изображающих русских красавцев.

– Посмотрите, – сказал я девушкам, – вот, по-моему, превосходный молодой человек.

Все на него посмотрели. Он сконфузился и отошел в сторону со своей шашкой и шпорами.

Вечером он явился в наш вагон. Впереди шла Вера Мушникова и вела его как победительница. Он растерянно шагал и влюбленно смотрел на Веру. Девушки ахнули. Сейчас же начались песни. Аня Серова, лучшая наша певица, раскрыла рот и бляла, как овца. Он тоже пел. Вера сидела с ним рядом, взволнованная и гордая.

Впрочем, в нашем вагоне все кончалось песнями. Выходили к печке, садились на дрова, и теплушка начинала дрожать. Не пели только докторши – из ложно понятого аристократизма. А я, лежа на нарах в углу, задыхался от приступов своей сердечной болезни.

## V

Они приходили внезапно, иногда днем, но чаще ночью, после вечера, проведенного самым скучным образом, в каких-нибудь вялых разговорах. Среди ночи я просыпался: я уж не я, не офицер, не такой-то – или, лучше сказать, только тут я действительно чистое я, без имени, без лица, без воспоминаний: одно обнаженное чувство противопоставления. Всё не я, кроме точки, которая я. Эта точка сжата до точки. В точку втиснут весь ужас умирания: страх упустить эту точку. Дыхание сдавлено. Вокруг меня спят. Легче было бы умирать в одиночестве, не чувствуя страшного равнодушия людей вокруг себя. Но ужас не в равнодушии. Здесь особый страх. Они равнодушны, потому что как бы отсутствуют перед лицом смерти, не принимаются в счет. Смерть обращена ко мне одному. Я бессилен, и смерть меня уничтожит.

И еще один страх, для меня самый главный.

Вот я умер, и дух оставляет мою плоть. Куда он пойдет? Вот он уходит из тела, которое рождает его на свет, как ребенка. Как ребенок, он слаб, и беззащитен, и обнажен: тело его не прикрывает. А что, если он растечется и потеряет форму, привлекаемый, как магнитами, пассивными душами спящих вокруг меня людей? Эти души полуоткрыты и готовы принять его.

Дух растворится и войдет по частям в душу каждого спящего. В каждом из них будет малая частица меня, а сам я исчезну.

Нет, надо умирать наедине с самим собой и последним усилием воли сохранить форму духа, пока он сам не окрепнет в новой своей судьбе.

## VI

После приступов я подолгу не мог заснуть и, отлежавшись, выходил посидеть на дровах у печки. Ночью там было пусто. Дежурный, обязанный топить по ночам, обычно закладывал доверху дрова и уходил подремать, пока все они не сгорят. Я с охотой освобождал его от необходимости вставать и подкладывать. Фонарь уже не горел. Свет шел только от печки. Храп и дыхание слышались из темноты. Я сел к огню и тихонько сидел, без мыслей, чувствуя, как остановилось время, – ничто не двигалось, не менялось, и все полно было только собой, как в живописи: там тоже видишь неподвижную полноту бытия всякой вещи, свободной от времени и от изменений. Только дым от моей папиросы чуть-чуть кружился, как будто дул откуда-то теплый ветерок.

Вера Мушникова, которой тоже не спалось после вчерашнего триумфа над подругами, вдруг появилась на середине вагона.

– Посидите со мной, Верочка, – сказал я.

– Подождите, я растрепанная, – сказала Вера и быстрыми, точными движениями стала укладывать себе волосы. Появились две буколки – справа и слева. Не доделав прически, Вера присела рядом со мной и поежилась.

– Холодно, – сказала Вера.

Я накинул ей на плечи свою куртку и посторонился, чтобы дать ей сесть у огня.

Нам не о чем было разговаривать.

Я первый нарушил молчание.

– Вы сидите как на сцене, – сказал я, – свет на вас падает, а кругом темнота. Как будто там зрительный зал. А я – единственный зритель.

– Правда, – сказала Вера, – немножко похоже.

– Вы когда-нибудь играли на сцене?

– Я была в театральной студии, – сказала Вера.

– Долго были? – спросил я, не зная, что бы еще спросить.

– Недолго, – сказала Вера, – я много еще где была.

– Что вы делали до войны, Верочка? – спросил я.

– В последнее время была в бутафорской мастерской. Мы готовили разные вещи для спектаклей.

– А раньше?

– Раньше всего я была поваренком. И я там сделала для выставки балерину.

– Восковую?

– Нет, из масла. И шелковое платье от куклы. Моя балерина попала на выставку, и меня взяли в бутафорскую мастерскую. Только мне там не нравилось. Там как на задворках.

– Поваренком было лучше?

– Нет, и там было скучно. Знаете, повара вечно сидят где-нибудь в комнатке возле кухни, с красными носами, и пьют чай. Я там хотела придумать немыслимое блюдо, чтобы оно меня прославило.

– Вам хочется славы?

– Хочется. Что-нибудь такое сделать лучше всех, чтобы все на меня смотрели и чтобы мне подражали.

– Все равно что, только бы прославиться?

– Знаете, – сказала Вера, – я, когда еще маленькая бывала в цирке, потом сама могла делать разные фокусы. Например – это очень трудно: взять стакан с водой и лечь на пол и потом встать и не пролить ни капли.

Она изменилась в лице, оживилась и заинтересовалась разговором, как маленькая девочка.

– А в студии вам нравилось?

– Да, но я была там недолго, – сказала Вера. – Хотите, я кого-нибудь представлю? – При этом она встала, вытянулась и дернула головой, в точности как это делаю я. Потом онаostroила бессмысленные глаза и уставилась куда-то в пространство.

Я расхохотался.

– Вам подошло бы быть актрисой. У вас прелестная манера говорить и очень точные движения, – сказал я.

– Как вы это заметили? – спросила Вера. – Я думала, что вы никогда никого из нас не видали.

– Почему?

– Потому, что вы вечно лежите у себя наверху и разговариваете только с Асламазяном и с докторшей Ниной Алексеевной. Она вам, наверное, нравится.

– Я лежу, потому что я болен, – сказал я.

– Что же с вами?

– У меня болит сердце, – сказал я и вспомнил о своих страхах.

– Это и у меня бывает, – легкомысленно сказала Вера, – поболит и проходит. А все-таки, нравится вам Нина Алексеевна?

– Вы мне нравитесь, – сказал я и обнял Веру.

«Зачем я это делаю?» – подумал я и повернул ее к себе, чтобы поцеловать. Вера повернулась. Я быстро отстранился, потом взял ее руку и осторожно поцеловал кончики пальцев. Она так изменилась в лице, что у меня сердце остановилось на секунду.

– Ай, не надо, – сказала Вера и отдернула руку.

Я смотрел в огонь.

– Я сейчас покажу вам какой-нибудь этюд, как мы делали в студии, – скороговоркой сказала Вера и, сняв с руки невидимую перчатку, отыскала на ней невидимую дырочку и невидимой ниткой принялась ее зашивать.

Я в самом деле только тут в первый раз увидел Веру. У нее было смугловатое лицо, небольшие темные глаза, временами зеленые, непонятное сходство с Марией-Антуанеттой, извилистые губы; прелестный овал, очерченный какой-то чистой и почти отвлеченной линией. Во взгляде были стремительность и лукавство: лицо из картины Ватто.

## VII

Утром у меня снова было удушье, но я так долго носился со своим страхом смерти, что он у меня прошел. Эшелон стоял на запасных путях без паровоза. Я вынул «Вертера» из своей полевой сумки и пошел побродить. Вернувшись, я попал в самую середину ссоры. Левит топтался на бревнах у печки и ревел: «Я не допущу, чтобы какая-нибудь проститутка...» Все это относилось к Вере. Девчонки кругом молчали. Докторши варили суп. Маленькая Лариска ползала у всех в ногах. Вера всхлипнула, отвернулась и горько расплакалась.

– Как вы смеете так говорить! Замолчите сию же минуту! – закричал я.

Левит ужасно удивился, потому что меньше всего ждал отпора с моей стороны.

– Да ведь она... – начал он объяснять.

– Я не желаю слушать никаких объяснений, – сказал я, – это недостойно – говорить такие вещи.

Я решительно сел у печки, показывая этим, что готов к дальнейшей борьбе. Все притихло в вагоне в ожидании неслыханной ссоры. Я чувствовал, что способен убить Левита. Вера тихонько всхлипывала, повернувшись ко всем спиной.

Левит заворчал и полез на нары. Вера поплакала и собралась уходить. Я встал, все еще взволнованный, и очень серьезно, почтительно подал ей пальто.

– Что вы делаете с Верой? Она обмерла. Я думаю, никто в мире никогда не подавал ей пальто, – сказала мне Нина Алексеевна. – Вообще Вера довольно противная девчонка, но я все-таки рада, что вы за нее заступились. Нельзя же так обижать, как этот Левит.

Вера вернулась только к вечеру. Все уже было забыто. Она пришла веселая, живая, порозовевшая от холода.

– Я сфотографировалась, – сообщила она.

Девушки собирались в это время на какую-то танцульку тут же на станции. Вера сию же минуту заторопилась идти вместе с ними.

– Да ты хоть поешь, ведь голодная, весь день ходила неведомо где, – говорили ей.

– Некогда, некогда, – торопилась Вера и нечаянно выплеснула свой обед под печку.

Мы с Ниной Алексеевной засмеялись.

– Верочка, вы просто прелесть, – сказал я.



## VIII

С вечера я не стал дожидаться припадка и вышел к печке, как только утихло в вагоне. Вера появилась и села рядом со мной.

Ей было немножко неловко за давешнюю сцену с Левитом. Она сидела серьезная, с нахмуренными бровями и смотрела в огонь. Но я видел, что ей ничуть не грустно, а просто интересно посмотреть, что будет дальше.

– Вы только не думайте обо мне плохо, – сказала Вера.

– Все это вздор, Верочка, и нечего вспоминать, – сказал я и тихонько взял ее за руку. – Почему вы вечно куда-то пропадаете? В вагоне так пусто, когда вас нет.

«Ох, не надо этого говорить», – подумал я и отнял руку.

Вера по-прежнему сидела нахмуренная.

– Почему же вы никогда со мной не разговариваете? – спросила Вера.

– По-моему, теперь уж мы подружились, – ответил я.

– Что у вас за книга? – спросила Вера.

Я протянул ей «Вертера».

– Что-то не по-русски, – сказала Вера, – вы, наверное, такой ученый, умный, все время читаете. Я хочу вас попросить: помогите мне написать письмо.

– Кому?

– Моему мужу.

– Разве вы замужем, Верочка? – спросил я.

– Да, уже второй раз. Мой муж на фронте, – сказала Вера, – мы поженились, когда я была в запасной бригаде. Мне там было хорошо. Я тоже хотела пойти с ними на фронт. Но, когда им пришлось идти, меня перевели в этот госпиталь.

– Вы были огорчены, наверное.

– Нет, я сама просила. У меня там тоже всякое было, – сказала Вера.

– Ну, давайте писать письмо, – сказал я.

«Дорогой Алешенька, – писала Вера, – я еду в вагоне. Кругом снега».

– Что бы дальше написать? – спросила она.

– Так очень трудно, – сказал я, – что же мы напишем человеку, про которого я ничего не знаю? Расскажите мне про него сначала.

– Он еще младше меня, – сказала Вера, – ему девятнадцать лет. Он очень хорошо танцует, поет. Его все так любили в этой бригаде. И девушкам он нравился. Спросите у наших девушек. Они его знают. Они все в него влюблены.

– И вы тоже, конечно? – спросил я с досадой.

– Я вам покажу его карточку, – сказала Вера и вынула обрывки мелко изорванной фотографии. – Дайте книжку, я на ней сложу.

Я приготовился увидеть какую-нибудь фокстротную физиономию какого-нибудь физкультурника. Я увидел черноволосого юношу с очень красивым, каким-то печальным и обреченным лицом. «Кавалер де Грие», – подумал я.

– Почему эта карточка разорвана? – спросил я с некоторым удивлением.

– Это я изорвала при нем на прощанье и сказала, что его не люблю, – ответила Вера, – я его обижала. Я все могла при нем делать, все, что хотела. Он все мне прощал.

– И вам его не было жалко?

– Нет. Он мне ничего не мог запретить. Я иногда хотела, чтобы он меня не пустил, удержал насильно, а он этого не умел. Он только просил, а я все ему назло делала. А раз вышло так, что он хотел в меня стрелять.

– Но не выстрелил все-таки?

– Нет, не выстрелил. Когда мы встречали Новый год, он там был, и еще его друг, такой Кока; мы с этим Кокой сидели в темной комнате. Аленька нас нашел; он был с командиром бригады. Он схватил наган и навел. Командир кричит ему: бей их обоих! А Кока встал, и молчит, и улыбается, и у него ямочки на щеках. Аленька бросил револьвер и убежал.

Вера вся просветлела при этом воспоминании.

– Он все-таки потом помирился с вами?

– Да. И даже плакал. Он мне потом так рассказывал: «Я вхожу, а вы оба такие взволнованные, и Кока, негодник, такой счастливый».

– А Роза вы любите? – спросил я.

Вера снова потемнела.

– Я его ничуть не люблю, – сказала она.

Розай служил в нашей части и ехал вместе с нами, в соседнем вагоне. Все знали, что он был любовником Веры и разошелся с ней уже в пути. Но в последние дни он снова стал появляться в нашей теплушке и поглядывать на Веру, хоть вовсе с ней не разговаривал и демонстративно ухаживал за другими девушками. Мне казалось, что Вера не совсем безразлична к его посещениям. При нем она садилась в уголок и не подавала голоса.

– Я ничуть его не люблю, – повторила Вера и встряхнула головой.

Я не мог оторваться от изменчивого Вериного лица, теперь уже снова печального.

– Мы, должно быть, уже не допишем письма, – сказала Вера.

– Вы можете стать актрисой, Верочка, – сказал я, – главное, что нужно для искусства, у вас есть: вы не подражательница.

– Как это? – спросила Вера.

– Все живут похоже друг на друга, подражают один другому или все вместе кому-то еще, сами того не зная. Никто не умеет жить по-своему. Поэтому все на одно лицо. А вы живете, как вам самой хочется, как вам это свойственно, – сказал я.

– Да, – сказала Вера с некоторым недоумением.

– А теперь я скажу вам еще одну вещь, и после нее вы сейчас же уйдете спать, – сказал я и взял Верину голову обеими руками. – Вера, я без памяти влюблен в вас, – сказал я ей на ухо и тотчас же встал и отошел на другую сторону теплушки.

Вера не поднималась.

– Идите, Верочка, – сказал я.

– Дайте мне вашу книгу и отвернитесь, – ответила Вера.

Я протянул ей «Вертера». Через минуту она вернула мне книгу и ушла на свои нары.

– Посмотрите на последней странице, – сказала она.

Там лежала новая Верина фотография с надписью на обороте: «Судьба решит. Вера».

Я снова сел у огня, встревоженный тем, что случилось. В сущности, ничего не случилось. Я подумал о том, как пусто мое существование, и о том, что сама по себе жизнь – ничто, ровная прямая линия, убегаящая в пространство, колея на снежном поле, исчезающее ничто. «Нечто» начинается там, где линия пересекается другими линиями, где жизнь входит в чужую жизнь. Всякое существование ничтожно, если оно ни в ком и ни в чем не отражается. Человек не существует, пока не посмотрится в зеркало.

## IX

Наш эшелон стоял на запасных путях среди других эшелонов; они были справа и слева. Бесконечные красные коридоры шли параллельно; кое-где обрывались, образуя переходы. Иногда одна стена начинала медленно двигаться; за ней открывалось чахлое поле со станционными домиками. Потом приходила другая стена, в точности схожая с прежней, и снова закрывала пейзаж.

Между вагонами было место прогулок. Можно было там заблудиться. Можно было уйти как будто далеко от своей теплушки и нечаянно оказаться рядом с ней.

Я стоял у самого ближнего перехода и видел, как Асламазян открывал нашу тяжелую вагонную дверь. Вера выпрыгнула и прошла мимо меня. Я ее окликнул. Она улыбнулась.

– Я пошла вас искать, – сказала Вера и протянула мне руку.

– Вера, я полон вами, – сказал я, – вы из меня вытеснили все. Я разучился думать о чем-либо, кроме вас.

Вера не отвечала и отвернулась в сторону.

– Вера, когда я смотрю на вас, мне кажется, что я даже вас не вижу. Я смотрю как-то насквозь, как будто все стало прозрачным, и вижу вас везде, – сказал я задыхаясь.

– Что же это будет? – сказала Вера.

Я молчал, потому что весь был опустошен.

– Зачем вы мне это сказали? Теперь у меня будет болеть сердце, – сказала Вера. – Я вам хотела сказать, что я вас уже немножко люблю, но это совсем не то, – сказала Вера и быстро ушла от меня.

Я стоял на снегу, задыхаясь, как рыба.

– Вы как будто изменились в лице, – сказала мне Нина Алексеевна, когда я вернулся в вагон и взбирался на нары.

– Опять удушье, – сказал я.

– Должно быть, на вас очень сильно действуют страдания молодого Вертера, – сказала Нина Алексеевна.

– Сегодня день сюрпризов, – сказала она. – Вы приходите откуда-то с искаженным лицом, а Вера пошла было гулять, как всегда, но, вместо того чтобы исчезнуть на целый день, очень скоро вернулась и лежит у себя и ни с кем не разговаривает. Вы с ней не встретились на прогулке?

Я хотел пошутить, но у меня не вышло, я криво улыбнулся и лег на нары.

– Вы, должно быть, увидели что-нибудь страшное на дороге, – сказала Нина Алексеевна.

Вера весь день почти не появлялась. К вечеру девушки стали собираться в кинематограф.

– Идем, Вера, – сказали они.

– Я сегодня не пойду, – сказала Вера.

– Как! – хором крикнули все в вагоне.

– Я себя плохо чувствую, – сказала Вера.

– Что же такое?

– У меня болит сердце.

– Прямо как у вас, удушье со страхом смерти, – сказала Нина Алексеевна, обращаясь ко мне. – А я бы вот с удовольствием пошла в кино, чем сидеть в этом отвратительном вагоне.

– Непременно пойдите, Нина Алексеевна, – сказала Вера.

– Да ведь, наверно, далеко и темно идти.

– Ничуть не далеко, тут же рядом, и потом вы мне расскажете картину, ведь лучше вас никто не умеет рассказывать, – просила Вера.

– Ну, раз вы так просите, придется пойти. Вы ведь тоже пойдете? – обратилась ко мне Нина Алексеевна.

– Вы знаете, я не охотник до кинематографа, – сказал я.

Асламазян галантно согласился сопровождать докторш.

Компания отправилась. В теплушке остались только мы с Верой, да еще в темноте спала капитанша со своей Лариской.

– Подойдите ко мне, – сказала Вера.

Она лежала у самого края нар. Я сел рядом с ней.

– Неужели вы вправду меня любите? – сказала Вера.

Я обнял ее; она поднялась и прижалась ко мне. Я ее поцеловал, и она мне ответила неожиданно сильно и нежно.

– А вы меня уже немножко любите, Верочка? – спросил я.

– Я еще не знаю. Но я чувствую, что буду вас любить, – сказала мне Вера.

## Х

Лежа на нарах, надумал себе любовь к этой советской Манон Леско.

Мне страшно было сказать себе, что это не так, что я ничего не надумал, а в самом деле все забыл и потерял себя и живу только тем, что люблю Веру.

Я укладывался на нарах так, чтобы видеть сразу весь вагон. Где бы ни появилась Вера, я мог ее видеть. Я поворачивался, как сомнамбула, в ту сторону, где была она. Я был не в силах на нее не смотреть.

Вера появлялась из-под нар с особенной прической, которую стала делать только теперь: волосы были высоко взбиты справа и слева; лицо от этого становилось тоньше и строже. Прическа придавала ей непонятное сходство с фантастическими дамами восемнадцатого века. Губы с утра были ярко нарисованы. Вера двигалась по вагону, а я лежал на нарах и поворачивался вслед за ней.

– Я как на сцене, – говорила мне Вера.

Теперь она почти не убегала. В кинематографе и на танцульках девушки бывали без нее.

Я выходил из вагона один и ждал ее у ближайшего перехода. Мы уходили бродить по лабиринтам среди эшелонов. Они тянулись повсюду и мелькали у меня в глазах. Вера всегда безошибочно находила дорогу. Она меня вела. Когда мы оставались одни, я не мог оторвать от нее губ. Она потихоньку поворачивала ко мне лицо. Я ждал, когда вся она ко мне повернется и быстро, стремительно меня поцелует.

Мы возвращались порознь. У последнего перехода я с ней прощался. Вера шла в вагон, а я приходил туда позднее, один, и взбирался на нары, чтобы снова на нее смотреть.

– Все смешалось в доме Облонских, – сказала мне Нина Алексеевна, когда я взгромоздился на нары, положил голову повыше и сдвинул дорожный мешок, мешавший мне видеть Веру.

– Что вы хотите этим сказать? – официально спросил я.

– То самое, что вы сами знаете. Когда мы ходили в кино, Галопова оставалась в вагоне и видела, как вы целовали Веру.

– Неужели вы ей поверили? – сказал я с негодованием.

– Я ей сказала, что не верю. Но если бы вы только знали, какие мерзости рассказывают о вас в вагоне! Галопова говорит, что вы столкнули маленькую Лариску и та кричала: «Не трогайте Верочку», – а вы ничего не слушали и всюду лезли со своими поцелуями.

– И вы всему этому верите!

– А Левит сказал, что вы завели разврат в нашем вагоне и что по ночам у печки вы черт знает что делаете с Верой. И даже Асламазян – вы ведь знаете, как он к вам расположен, – и тот говорит, что не ожидал от вас этого.

– Я надеюсь все-таки, – сказал я, – что вы не будете верить всем этим пошlostям. Я всегда считал, что в подобных случаях откровенность совсем не у места. Но если уж мы живем настолько впритирку друг к другу, что скрыть ничего нельзя, то я предпочитаю, чтобы вы знали обо всем не от Галоповой, а от меня самого.

– Я тоже так предпочитаю, – сказала Нина Алексеевна.

– Неужели вы думаете, что я влюблен? Разве я похож на влюбленного? – спросил я и повернулся, потому что Вера перешла на другую сторону вагона.

– По-моему, очень похожи, – сказала Нина Алексеевна.

– А между тем это вовсе не так. Но вы ведь сами видите, что Вера какая-то особенная. Она ничуть не похожа на других дружинниц. Те – мешаночки. Они ничего не могут придумать. Все у них страшно обыденно – все их романы, ссоры, надежды, все, чем они живут.

– А Вера – необычайная?



– Вот вы смеетесь над этим. А у нее в самой внешности есть что-то особенное. В ней какие-то черты восемнадцатого века. Она похожа сразу на Марию-Антуанетту и на Манон Леско, – сказал я и снова повернулся вслед за Верой.

– Вы с ней об этом и говорите на ваших прогулках? – спросила Нина Алексеевна.

– Нет, отчего же? У нее есть фантазии, желание славы; она мечтает стать актрисой. Вообще какой-то девический романтизм. Вот мы об этом и разговариваем, – сказал я.

– Вы думаете, что вас никто не видит, а вас все, решительно все встречают, – сказала Нина Алексеевна.

– Не может быть, чтоб уж решительно все, – сказал я с улыбкой.

– А Вера нарочно афишируется с вами, – сказала Нина Алексеевна, – чтобы Розай приревновал ее.

– Но боже мой, что ж тут такого! Я же говорю вам: она меня интересует совершенно литературно, – сказал я.

– Какая уж тут литература! – сказала Нина Алексеевна.

– Вера из породы пламенных людей, живущих вне формы, – ответил я.

– Что еще за пламенные люди?

– По-моему, это понятно, если говорить о гениях, – сказал я. – Вот Гёте, Моцарт, Пушкин – люди безупречные, совершенные. В них все определяется формой. Удел безупречности – завершать и подводить итоги. Не надо думать, конечно, что они не могут быть бурными; но у них сама буря как-то срастается с формой и традицией. А вот Шекспир и Микеланджело – пламенные, со срывами и падениями, но они как-то разрывают форму и прорываются в будущее. Это несовершенные гении, которые выше совершенных: они создают совершенство иного рода. Они наивны, а те умны. Я считаю, что и всех не гениев можно делить на две категории: безупречных и пламенных, в форме и вне формы, то есть с тенденцией в ту или другую сторону. Вот и Манон Леско все время разрывает форму.

– И Вера тоже?

– И Вера вне формы. Она похожа на пламя от свечки: мечется во все стороны, и, наверное, достаточно простого дыхания, чтобы ее погасить.

– Теперь уже ясно, что вы влюблены в нее. Вы весь мир теперь видите через Веру, даже Гёте и Моцарта, – сказала Нина Алексеевна.

– Вы ошибаетесь, – ответил я.

– Мне вас очень жалко, – сказала Нина Алексеевна, – я уверена, что Вера над вами смеется.

– Очень может быть, – ответил я.

## XI

Солнце светило так настойчиво, что снег на крыше вагона растаял и по углам повисли длинные сосульки. Ушел эшелон, закрывавший от нас пейзаж. Открылось поле с некрасивыми станционными домиками. Снег сверкал там по-зимнему, а вокруг эшелона натаяли лужи. Все шумно вылезли греться на солнце и широко раскрыли вагонную дверь.

В теплушке стало резко, непривычно светло. Все меня раздражало и казалось мне грубым. Дул мокрый ветер. Люди тоже все погрубели. Левит растолкал всех и с наслаждением подставил свою дряблую физиономию под солнечный луч. Я лежал на нарах и притворялся, что сплю. Над самой головой у меня, по крыше вагона, протопотали быстрые мелкие шаги.

– Это Розай с ума сходит, – сказали девушки, – вылез на крышу и бегаёт, как козел.

– Вот это настоящий мужчина, – сказала Галопова.

Через минуту Розай, маленький, раскосый, крепкий, весь красный от бега, ворвался в наш вагон. В руках он держал большую ледяную сосульку и с размаху бросил ее в Веру. Я привстал на нарах, чтобы все это лучше видеть. Вера страшно покраснела, стряхнула сосульку на пол и оглянулась на меня.

– Кто со мной на крышу? – крикнул Розай и схватил Веру за руку.

Вера вырвалась, он снова схватил ее.

– Пустите, – сказала Вера, но Розай держал ее цепко.

Я с каменным лицом посмотрел на Веру. Она могла расплакаться или, может быть, могла тут же войти во вкус игры. Все это я видел в ее лице. Вера метнулась в сторону, Розай ее дернул. Оба упали. Он тяжело дышал. Мне показалось, что он ее стал щипать.

– Не надо, – сказала Вера слабым голосом.

– Может быть, вы перенесете вашу игру куда-нибудь в другое место? – недовольно сказала Нина Алексеевна.

Розай не обратил на нее внимания. Он снова наскочил на Веру. Кругом хохотали. Наконец Розай сел, и Вера села рядом с ним. Я спустился с нар, вышел вон из вагона и куда-то пошел по весенним лужам. Вера сделала выбор. Мне было все равно, куда идти. По дороге я столкнулся с Асламазяном.

– Пойдемте со мной, – сказал Асламазян, – представьте, в этих домиках можно достать водку.

– С величайшим восторгом, – сказал я.

Когда мы вернулись, ни Розая, ни Веры не было в теплушке. Мне казалось, что я видел их возле домиков с водкой. Но я не стал смотреть, и, может быть, я ошибался.

– Недурные сцены устраивает ваша Манон Леско, – сказала Нина Алексеевна.

– Да ведь это вполне в местных нравах, – небрежно сказал я.

Вера не приходила. Я чувствовал на себе взгляды всего вагона. Нина Алексеевна смотрела на меня с насмешливым состраданием. Остаться было невыносимо.

– Ну, пойду изучать восемнадцатый век, – сказал я, взял «Вертера» и ушел.

Я бродил по лабиринту среди эшелонов, там совсем нетрудно было найти дорогу. Если бы Вера мне встретилась, я прошел бы мимо, ушел бы в сторону. «Конечно, я просто смешон ей», – думал я. Но Веры нигде не было.

Я вернулся в вагон, когда все уже улеглись. Вера не приходила. Асламазян меня дожидаясь. Мы нудно и бесконечно медленно пили с ним водку. Потом я долго лежал с открытыми глазами в темноте и читал себе стихи Олейникова:

Однажды красавица Вера,  
Одежды откинувши прочь,

Вдвоем со своим кавалером  
До слез хохотала всю ночь.

Действительно весело было,  
Действительно было смешно.  
А буря за форточкой выла,  
И дождик стучался в окно.

## XII

Вера пришла только утром и хотела незаметно скрыться под нары, но было слишком поздно: все уже встали, в вагоне шла жизнь.

Она, наверное, хотела прийти пораньше, но безалаберно провозилась и запоздала. Я видел в окошко, как она боязливо выходила из низкого станционного домика и кружной дорогой пробиралась в вагон.

Веру встретили ледяным молчанием. Но шпильки могли начаться в любую минуту. Тишина была опасной. Левит закашлялся на своих нарах.

– Дайте мне зеркальце, Верочка, – сказала Нина Алексеевна и спасла этим Веру.

Напряжение разошлось. Вера засуетилась, разрыла свою корзинку. Побивание камнями не состоялось. Все внезапно успокоилось: в самом деле, ничего не произошло. Вера от меня сторонилась, ни разу не посмотрела. Я выдержал характер: приветливо поздоровался с ней, стал медленно умываться и пошутил с Асламазяном насчет нашего вчерашнего кутежа.

Я вышел гулять со своим «Вертером», не заботясь о направлении. Лучше сказать, я нарочно пошел не туда, где мы обычно ходили с Верой. Но я не успел еще скрыться среди эшелонов, и Вера меня догнала.

Она подошла ко мне и улыбнулась неуверенно и вместе дерзко. Я остановился. Вера ждала и молчала; я не начинал объяснения.

– Вы обо мне думаете гадости, – сказала Вера.

– Нисколько, Верочка, – сказал я.

– А я перед вами ничуть не виновата, – сказала Вера и топнула ногой.

– Конечно, ничуть. Вы мне ничего не обещали; вы вправе поступать, как считаете нужным, – сказал я.

– А я ничего плохого не сделала, – сказала Вера и снова топнула.

– Вы сделали выбор, – сказал я и хотел уйти.

– Нет, – ответила Вера с упрямством.

Я молчал.

– Просто я вам теперь не могу объяснить, есть причины. А потом я, может быть, вам объясню, – сказала Вера.

Я понял, что Вера считает меня идиотом. Потому так уверенно старается меня обмануть. Почему бы мне и не поверить ей? А я из самого пошлого самолюбия захотел показать, что я не такой уж идиот. Нет, я не хотел ей поверить, потому что для меня это было слишком серьезно. Я подумал, что в самом деле ее люблю.

– Я ведь вас ни о чем не спрашиваю, – сказал я.

Вера смотрела вниз.

– Верочка, – сказал я, – все остается по-прежнему. Я продолжаю считать вас удивительной девушкой. Я буду чудесно к вам относиться. Мы будем дружить, если вы захотите. Но только мы больше не будем говорить о любви, потому что соперничества между мной и Розаем не может быть.

– Это ваше последнее слово? – спросила Вера.

– Ну конечно же, Верочка, – сказал я и пошел прочь.

Мы снова, как со свидания, порознь вернулись в теплушку. Вере трудно было держаться: в вагоне установился тон, по которому выходило, что ничего важного не случилось; я был с ней приветлив и холоден, и она подчинялась этому тону; но вместе с тем она чувствовала что-то неконченное в нашем объяснении. Когда я взглядывал на Веру, она делала страдающее лицо; но, должно быть, она и вправду мучилась. Я ушел на нары; Вера тоже спряталась на свою постель. Что-то снизу укололо мне ногу, как будто соломинка или шпилька просунулась между

досками. Я привстал, чтобы сбросить соломинку, и в это время Вера ловко всунула мне в руку письмо.

Нельзя было читать его тут же, на глазах у всего вагона. Я схватил шинель и вышел; может быть, я сделал это слишком быстро. Я стоял у чужой теплушки, под паровозом, и читал:

«Простите!!! Простите меня. Я плохая, гадкая, нет, хуже – отвратительная пустая девчонка. Я не оправдываюсь перед вами. Я не могу спокойно писать, мне не связать в целое мысли. А хочется все рассказать вам о себе. Все, все. Вы бы поняли, в чем я прошу простить меня. Вас и ваше сердце. Ведь я знаю, что ему больно.

Я поступила страшно неправильно. Но поверьте, совесть все время мучила меня. Сердце болело. А сейчас что с ним! Да и со мной не лучше.

Мне так хочется поцеловать моего умного, хорошего друга. И со слезами просить это простить.

Как я сейчас себя ненавижу!

Вы можете не изменять своего решения. Но мое сердце просит вас или совсем забыть меня, или простить. Простить за то, что вы полюбили меня. Все могло бы быть иначе. Я виновата. И еще за то, что я сделала вам так больно. Ведь и в том, что у многих нет ко мне уважения, тоже я сама виновата.

Поймите меня и простите. Но лучше не думайте обо мне. Может быть, все пройдет само собой. А я буду молиться. Ваша В.».

Я так впился в это письмо, что не видел Веры, которая все время стояла рядом со мной. Я постарался сделать равнодушное лицо, но у меня вышла какая-то гримаса. Я взглянул на Веру.

– Если б вы знали, какое у вас было лицо, когда вы читали, – сказала Вера.

– Я думаю, самое обыкновенное, – сказал я.

– Нет, хорошее, хорошее. Я теперь знаю, что вы не то, чем хотите казаться, – сказала Вера.

– Я ничем не хочу казаться, – сказал я, – вы написали прелестное письмо. Такое же прелестное, как вы сами. Но я ничего не могу ответить вам, кроме того, что сегодня уже говорил.

– Вы меня не прощаете, – сказала Вера.

– Бог мой, мне не в чем прощать. Вы не виноваты передо мной, – сказал я и пошел в вагон.

Вера не трогалась с места. Я отошел несколько шагов и вернулся назад.

– Вы только не думайте, Верочка, что я вас презираю или что-нибудь подобное, – сказал я, – вы хорошая, очень хорошая. Пойдемте теперь в теплушку.

С этого свидания мы вернулись вместе.



### XIII

Я весь вечер не видел Веру – она ушла под нары и не показывалась. В вагоне о ней уже не говорили. Там возникло новое событие: воспользовавшись отлучкой капитанши, Галопова высекла маленькую Лариску, которая сверху плевала ей в суп. Все с жаром обсуждали – должна ли она была это сделать или не имела на то никакого права.

Левит ревел и сам плевался по этому поводу, но, в общем, одобрял порку и очень хотел распространить ее дальше, на самую Галопову и некоторых других. Капитанша рыдала на своих нарах так долго и неестественно, что даже сама высеченная Лариска обратилась к ней с вопросом: «Что ты воешь, ревушка-коровушка?» – и была наказана вторично. Сама Галопова, задропированная в платок, с одинаковым презрением выслушивала любые взгляды на это дело, даже те, которые клонились в ее пользу. Видно было, что наконец она приложила к жизни любимую свою мысль и доказала, что она не хуже других.

Потом запели песни, хотя капитанша продолжала страдальчески стонать и время от времени высовывала голову со своих нар, грозя убить Галопову. Теплушка дрожала. Было, должно быть, поздно, когда все утомонились и после пережитых волнений крепко заснули.

Я сел у огня и всю ночь просидел один. Мне было грустно, что я возвращаюсь в пустую, безмерно пустую жизнь. Я хотел думать о другом и вспомнил прежние свои мысли, которые были мне дороги, – о том, что я вернусь когда-нибудь с войны и буду жить особенной жизнью – мерной, замкнутой и сдержанной, в которой не будет ничего, кроме мыслей. Я представил себе книги, скульптуру, занятие музыкой. Все это не имело больше никакой цены для меня, потому что уводило от Веры. Я подумал, что Вера высокомерна со мной и выходит победительницей в наших объяснениях. Мне показалось, что ее письмо написано свысока. Я достал и снова прочитал письмо и увидел, что в нем нет единственно нужного мне: там не было сказано, что Вера меня любит. Мы с ней были совсем чужими. Мы ни в чем не совпадали. Она была во мне, как пуля в ране. Я не мог перестать ее чувствовать. Я ревновал ее как-то не так, как ревновал бы другую. Что бы она ни сделала, мне все в ней казалось прелестным. Я вспомнил, как на днях все сердились на Веру за какую-то грубую выходку по отношению к подруге, а я сказал с абсолютной искренностью: «Ведь это же мило». В самой ее резкости я видел одну только девическую прелесть, а в падениях – ту трепетность, о которой думал, когда сравнивал Веру с пламенем свечи.

«Все равно я не могу не любить ее, – думал я, – только теперь это никого не будет касаться, даже самой Веры; это будет моим делом, таким же особенным, как все мои мысли, которые не касаются никого».

Я потушил фонарь, пошагал по теплушке взад и вперед с папиросой, а потом сразу вспрыгнул на свои нары. Я не мог решить иначе, да, в сущности, это не было решением – это было неотвратимой судьбой. Мне по-прежнему было печально и даже страшно, но в этой печали и в страхе жило уже ощущение безмерного счастья.

## XIV

Не знаю, как это случилось, но утром, когда я проснулся, во мне уж не оставалось ни грусти, ни беспокойства. Было только счастье, счастливая уверенность, что все пойдет именно так, как должно идти. В то же утро мы тронулись наконец из Л\*\*\*, где мне было так тяжело. Перед самым отъездом Вера со смущенным лицом сунула мне записку:

«Боже мой! Что мне делать! Сегодня утром, когда вы вышли, случилось то, чего я никак не ждала. Я очень несчастна, все, что я делаю, как мне кажется, хорошо, – обязательно кончится плохо. Маленькая Лариска увидела фотографию, которую вы мне дали, и, конечно, закричала на весь вагон. Все поняли, что вы и я вместе на фотографии. Я защищала вас как могла, спокойно и хладнокровно. А что было у меня на душе! Боже! Каждый день какие-нибудь новости – печальные. С каждым днем я себя ненавижу все больше. Сейчас так беспокойно, тяжело на душе. Мне кажется, что вы будете сердиться. Я больше не могу писать. Вера».

Я не мог ответить ей сразу, потому что поезд пошел и шептаться с ней на глазах у всех было неловко.

– Что такое случилось без меня в вагоне? – тихонько спросил я Нину Алексеевну.

Она смотрела на меня очень сердито.

– Новые выходки вашей Манон Леско, – сказала она, – я ради вас прихожу ей на помощь, но, в общем, ни вы, ни она совершенно не стоите этого. Пускай бы над вами хохотали, какое мне до этого дело!

– Да что же случилось?

– Вы ей подарили фотографию? Это так на вас похоже. Вы ухаживаете за ней по всем правилам дачных романов, – сказала Нина Алексеевна.

Я покраснел.

– Ну не то чтобы я ей дарил... – сказал я.

– Когда вы ушли, Вера подозвала к себе Лариску и стала показывать ей картинки и на каждой картинке учила узнавать знакомых. Там и меня где-то нашли, в виде какой-то дамы с зонтиком. А потом дело дошло до вашей фотографии. Конечно, Лариска вас моментально узнала и закричала с восторгом. Все захотели посмотреть, а Вера стала прятать, прямо из рук вырывала. Тут уж совсем стало ясно, что это именно ваша фотография. Вера это нарочно делает; ей, после приключения с Розаем, нужно какое-то средство утвердить себя, – сказала Нина Алексеевна.

– По-моему, это как-то наивно, – сказал я.

– Ну да, ведь это же мило. Вы изучаете восемнадцатый век. А вы не знаете, какой обезьяний гогот поднялся в вагоне и как трудно мне было прекратить это, – сказала Нина Алексеевна чуть не со слезами.

– Я вам очень благодарен, – сказал я.

– Вы мне несколько не благодарны. И вы не понимаете, как роняет вас это соперничество с Розаем, – ответила Нина Алексеевна.

– Ну, мой друг, вы видите какие-то драмы там, где их вовсе нет. И притом я даже не хочу понимать, о каком соперничестве вы говорите, – неискренне сказал я и отошел к печке, потому что Вера была там. Поезд в это время загудел, приближаясь к станции.

– Верочка, все это вздор, неужели вы в самом деле волновались из-за вздора, – закричал я на уху Вере.

Когда поезд остановился, я вышел из вагона, и Вера моментально прыгнула вслед за мной. Я сказал ей, что сегодняшний день у меня счастливый и поэтому – но только на один сегодняшний день – ей прощается все. В доказательство я сдержанно поцеловал ее в щеку.

– Я знаю, почему вы счастливый. Вы просто меня разлюбили, – сказала Вера.

– Мы не говорим на эту тему, – сказал я.

– Вы не хотите меня целовать, – сказала Вера.

– Нет, отчего же? – сказал я и снова слегка поцеловал ее в щеку.

– У вас какие-то смешные поцелуи, от которых можно умереть, – сказала Вера.

А я был так счастлив и так любил эту неверную, милую Веру, что никак не мог допустить ее смерти. Впрочем, она сама взяла в свои руки всю инициативу и просто повисла у меня на губах.

Мы еле успели вернуться в теплушку. Поезд снова тронулся. Мы колесили по всяким станциям, возвращались назад, останавливались на запасных путях, потом снова тронулись и ехали без остановки всю ночь. Мне не хотелось уходить на нары; я сел у печки, и Вера осталась со мной. На ходу теплушка звенела и вздрагивала. Мы говорили полным голосом, потому что никто нас не слышал.

– Значит, вы не разлюбили меня, – сказала Вера и взяла меня за руку.

– Мы с вами совсем не говорим на эту тему, – ответил я, – сегодняшний день уже кончился.

– И вы больше не счастливы? – спросила Вера, но я не ответил, осторожно отодвинул руку и стал говорить Вере, какой она будет удивительной актрисой.

– У вас уже есть главное, Верочка, у вас есть какой-то естественный артистизм, – говорил я.

Вера перестала мне отвечать и смотрела в огонь.

– Иду спать, – сказал я и ушел на нары.

Вера осталась одна. Я долго не мог заснуть и смотрел, как Вера с расстроенным лицом сидит у огня. Ей тоже нужно было принять решение.

## XV

Наутро мы приехали в О\*\*\* и снова встали на запасный путь, в тупике, среди одинаковых, ровных верениц эшелонов. Кругом не было ни деревца, ни кустика, как будто все было сожжено; ни одной деревни не виднелось вокруг.

«Все становится отвлеченным, если действие совершается без фона», – подумал я.

– На редкость унылое, безотрадное место, – сказала Нина Алексеевна, – даже не хочется идти гулять.

– Я пойду посмотреть, нет ли здесь телеграфа, – сказал я.

– Пошлите для меня телеграмму, – попросила Вера и подала мне листочек. Там было написано: «Подождите меня у вокзала. Я приду через десять минут».

Асламазян и Нина Алексеевна усмехнулись. Левит и капитанша крикнули. Галопова как-то пискнула.

– С удовольствием пошлю, – серьезно сказал я Вере.

Сразу за разрушенной станцией шло пустое бескрайнее снежное поле. Какие-то черные точки, не то люди, не то птицы, кое-где терялись в нем. Когда мы отошли, станция тоже скрылась за снежными буграми. Сквозь поле вела витая затейливая тропинка.

– Вы как-то изменились, Верочка, – сказал я, – вы теперь не такая живая, как были раньше.

– Это потому, что я с вами, – ответила Вера.

– Мне совершенно не нужно, чтобы вы скучали под нарами, – сказал я, – помните, как вы раньше первая выскакивали из вагона и куда-то пропадали? А теперь вы не ходите даже на танцы.

– Вы сами станете плохо обо мне думать, если я буду уходить, – сказала Вера.

– Нет, не стану, – сказал я. – Мне мило все, что вы делаете. – «Я все равно вас буду любить», – хотел сказать я, но вспомнил, что нельзя говорить о любви. – Вы должны делать все, что вам свойственно, – сказал я.

– Вы, наверно, думаете, что мне свойственны всякие гадости, – ответила Вера, – а знаете, куда я убегала? Помните, как я раз приехала на паровозе? Я тогда увидела в поле избушку, такую беленькую, и мне захотелось до нее дойти. Оборачиваюсь, а поезд ушел. Я все-таки туда дошла. У меня всегда так бывает: выйду и пойду, сама не знаю куда, или вдруг пойду и расплачусь, и тоже сама не знаю чему, а больше ничего у меня нет, – сказала Вера так искренне, что, должно быть, сама себе верила, и на глазах у нее показались слезы.

– Значит, вы сами не понимаете своих желаний, вы о чем-то мечтаете, сами, может быть, не зная о чем, – сказал я.

– Я хочу всегда быть с вами, – ответила Вера.

Я крепче взял ее за руку и молчал, потому что нельзя было говорить о любви.

– Я сама не знаю, что со мной, – сказала Вера. – Мне сначала смешно было, как вы мне говорили и задыхались как-то. Но только я всегда хотела быть с вами. Я чувствую, что-то должно быть, а что – не могу понять. Я хочу, чтобы вы опять смотрели на меня, как раньше, и говорили бы, что любите меня.

– Я буду говорить, а вы станете отмалчиваться, Верочка? – сказал я. – А потом опять убежите с Розаем? – тихонько сказал я и на секунду обнял ее плечи.

– Я никогда, никогда не сделаю вам больно, – сказала Вера и сама обняла меня.

Я высвободился.

– Знаете, Верочка, вы не станете для меня хуже, что бы вы ни сделали, – сказал я.

– Нет, я хочу, чтобы вы меня любили, – сказала Вера и стремительно поцеловала меня в губы.

«Верочка, разве можно любить больше», – чуть не сказал я, но заметил, что к нам идут, и выпрямился.

– Извините, мы, кажется, вам помешали, – сказала Нина Алексеевна, подходя к нам вместе с Асламазяном, – но там объявили, что эшелон сейчас уйдет, и нам пришлось вас разыскивать.

– Как вы можете помешать? – сказал я. – Мы просто гуляем. По-моему, это поле совсем не так безотраднo, как вам показалось сначала.

– Голое, пустое поле, совершенно неинтересное. Снег и больше ничего, – ответила Нина Алексеевна.

– Настоящий шекспировский пейзаж, как будто из «Короля Лира», – с увлечением сказал я.

– А что такое Манон Леско? – неожиданно спросила Вера.

– Женщина, созданная для любви, – ответила Нина Алексеевна.

– Девушки мне сказали, что это самое обидное название для женщины, «Манон Леско», – сказала Вера, – и что будто вы меня так называете, – сказала она мне тихонько.

– А вы как считаете насчет Манон Леско? – спросила Нина Алексеевна у Асламазяна.

– Я не знаю, – сказал Асламазян.

– А я думаю, что Манон Леско – самая прелестная, самая трогательная из всех героинь и нельзя не любить ее, – сказал я с увлечением.

В этих разговорах мы дошли до теплушки. Асламазян галантно посадил сначала Нину Алексеевну, потом Веру. Мы с ним постояли у двери, уступая друг другу подножку, как Чичиков и Манилов, и эшелон снова пошел.



## XVI

Поезд остановился так неожиданно, как будто спереди его хлопнули по паровозному носу; он даже отпрянул назад; наша теплушка задергалась, котелки посыпались на пол, печка зашипела, облитая супом. Все бросились открывать вагонную дверь. Перед нами были высокие снежные холмы, где-то виднелась роща, в стороне стояла деревня. Все столпились у двери. Вера подошла ко мне и тихонько сказала:

– Вы мой милый. Теперь вы знаете, что я вас люблю.

– Наконец-то, – сказал я ей на ухо.

– Я тоже подумала «наконец-то», когда мне захотелось вам это сказать; как хорошо, что мы подумали одинаково, – сказала Вера.

Все смотрели в пустое поле. Было непонятно, почему мы стоим. Асламазян пошел узнавать.

– Мы на разъезде; может быть, сейчас пойдем, а может быть, простоим долго, – сообщил он.

– Я думаю, можно все-таки погулять на этом холме, – сказал я, направляясь к двери.

В это время в наш вагон вошел Розай. Со дня похищения Веры он у нас не появлялся. Он и Веру, должно быть, с тех пор не видел. Мне показалось, что он осунулся и пожелтел. Глаза у него были живые, быстрые, похожие на Верины. Он мне нравился, несмотря ни на что. Он сел на дрова, и девушки сразу его окружили. Я посмотрел на Веру. Она стояла спиной ко мне и спиной к Розаю, тоненькая, вытянутая, как будто готовая сорваться с места. Мне слишком тяжело было видеть новую сцену между ней и Розаем. А сцена была неизбежна. Я отвернулся и вышел.

Я с остановившимся сердцем подымался на холмик и увязал в снегу. Я не видел, как Вера метнулась за мной из вагона. Она подбежала ко мне запыхавшись и сказала мне:

– Милый, милый.

– Верочка, мне не нужно никаких жертв, – сказал я и сразу понял, что было жестоко говорить ей так.

Мы перебежали через холмик. Вагон от нас скрылся. Вера прижалась ко мне и заплакала.

– Вера, – сказал я, чувствуя, что слезы и у меня подступают к горлу, – Верочка, можно ли любить больше, чем я вас люблю.

Когда мы вернулись, Розая давно уже не было в нашем вагоне, и мы не хотели о нем вспоминать. На нарах уже укладывались на ночь. Нам трудно было расстаться. Я погасил фонарь; мы сели рядом у печки и долго сидели вдвоем. Я по-старому не мог оторвать глаз от Веры. Она положила голову мне на плечо так доверчиво и так нежно, что сердце у меня сжалось.

– Как по-французски «теплый ветер»? – спросила меня Вера.

Я сказал.

– Когда мне захочется сказать вам «мой милый», я при всех, на весь вагон буду говорить вам «vent chaud».

## XVII

У разъезда было французское, какое-то бретонское название: Турдей, а на соседнем холме стояла разоренная вражеским нашествием русская деревня Каменка. Деревенские собаки, на низких лапах, похожие на лис, подбегали к вагонам подбирать объедки, выкинутые в снег. Мы встали на этом разъезде так прочно, что колеса вагонов покрылись толстой снежной корочкой. Солнце стало светить каждый день, как будто уже начиналась весна; снег на полях оседал. Из-под снега торчали сухие травинки, цветочки, какие-то веточки. Вера их собирала. С этими букетами мы возвращались с наших прогулок.

Метаморфоза произошла незаметно. У меня начались удивительные дни. Словно я уехал куда-то от себя самого и стал жить какой-то безымянной жизнью, без надежд и без воспоминаний, одной любовью; словно все, что случилось со мной, было совсем не со мной и наступил особенный, от всего отдельный, ну, что ли, отрывок судьбы; и сам я не знал, где я настоящий – на весенних ли полях, влюбленный в девочку, или я, почти не существуя физически, живу в остановившемся времени, разучиваясь видеть мир вокруг себя.

Вера всегда была трезвее меня. Она становилась нежней и доверчивей; у нее возникала привычка, привязанность ко мне. Но жизнь у нее не оборвалась, как моя; все продолжалось, не утрачивая связи с прошлым; она могла говорить и думать о том, что будет с нами дальше, а я разучился мечтать.

Мы бродили вдвоем целый день и возвращались усталые, счастливые и все-таки снова хотели быть вместе. Вера выбегала из вагона, я шел за ней, и она меня спрашивала:

– Вы никогда, никогда меня не разлюбите?

Добрый Асламазян открывал и закрывал за нами тяжелую вагонную дверь.

– У вас когда-нибудь бывали романы? – ядовито спрашивала меня Нина Алексеевна. – Вы хоть бы минутку подождали, а то все видят, что вы бежите следом за Верой. Она, по-моему, опытнее вас и гораздо лучше притворяется.

Я в самом деле ничего не умел скрывать, хотя тревожился об общем мнении все-таки больше, вернее – иначе, чем Вера. Ей часто хотелось похвастать перед подругами, лишний раз «утвердить себя», как говорила Нина Алексеевна. А мне было важно одно: чтобы никто не смел говорить мне в глаза, потому что это меня отвлекло бы. А за спиной могли говорить и делать все, что угодно: я ничего не видел, никто не существовал для меня – не фигурально, а в самом буквальном и точном смысле.

Все злоречие, не умея меня задеть, обрушивалось на Нину Алексеевну.

– Они почему-то думают, что я заинтересована в ваших делах, – говорила мне Нина Алексеевна, – они стараются раскрыть мне глаза на ваше поведение. Постоянно с улыбочками говорят, что Вера смотрит на меня наглыми глазами. Впрочем, я и сама иногда это вижу. А ведь я всегда ее выручаю. А когда в тот раз был Розай и вы с Верой ушли, вы прямо не поверите, какое здесь началось обсуждение. Все наперебой ему рассказывали про вас.

– И сам Розай участвовал в обсуждении?

– Нет, он молчал. У него страдающее лицо было в это время. Он чем-то похож на Веру. Потом так неожиданно ушел. Я довольно резко сказала, что не хочу слушать сплетни. И можете себе представить, когда я ушла на нары, Галопова громко так сказала: «дура» – на весь вагон. И все хохотали.

– А Розай страдает, вы говорите?

– Да. По-моему, он теперь еще больше влюблен, из-за вас.

– Я тоже так думаю, – сказал я.

– Вы находите, что все должны влюбляться в вашу Веру. Впрочем, это, должно быть, правда, – сказала Нина Алексеевна.

– А какая стремительность в ее жизни! Ей ведь всего двадцать лет, а у нее уже целая биография, – сказал я.

– Сплошь состоящая из романов, – ответила Нина Алексеевна.

– Да, ведь это все вздор насчет театральных способностей, славы и прочего. Она сама не очень настаивает. Все это только средства обольщения. Настоящее призвание Веры – любовь. Тут метампсихоза. Это живая Манон Леско, – сказал я.

– Только сама она этого не понимает. А вы мне говорите такие вещи, которые должны были бы сказать ей, да боитесь, что она не поймет. Вы и тут продолжаете обращаться к ней, – сказала Нина Алексеевна.

– Что вы, это совсем не так, – ответил я.

– Конечно, – сказала Нина Алексеевна, – вот я вам хотела рассказать о себе, а вы даже слушать не стали, все спрашивали, что Розай да что Вера. Знаете, Асламазян сказал мне, что если бы захотел, так моментально расшвырял бы в стороны эту пару, то есть Веру и вас.

– Ну что же, может быть, и так, – ответил я.

## XVIII

Девический романтизм Веры, пристрастие к неожиданному и странному, к большим темам – не меньше любви и смерти, – о которых она, по счастью, ничего не умела сказать, – все это находило выход в особенной какой-то привязанности к плохому искусству, в котором она, может быть, умела различать и подлинность, и большие чувства. В ее сундучке, среди вороха набросанных платьев и юбок, было множество сувениров, мелких ненужных вещиц, очевидно связанных с ее жизнью, с ее романами – не такими, каковы они были в действительности, а расцвеченными памятью и желанием применить к себе прочитанные, слышанные, с другими случившиеся – красивые, как она думала, – переживания. Впрочем, она не мечтала над своими сувенирами; так, только искорка пробежала, наверное, в ее памяти, когда она их перебирала – не больше секунды на каждое воспоминание. Она показала мне открытку с ужасным бёклинским «Автопортретом со смертью».

– Разве вы находите это красивым, Верочка? – спросил я.

– Нет, вы посмотрите на обороте, – сказала Вера.

Там стояла дата и было написано: «Предчувствие близкой смерти тревожит меня». Может быть, весь романтизм и заключается в том, чтобы не бояться пошлости и дурного вкуса, даже не знать, что они существуют, и сразу браться за такие темы, которые – с точки зрения людей формы – по плечу только Шекспиру и Данту.

Дневников у нее не было – для этого слишком стремительно шла ее жизнь, да ей и не суметь бы их написать, – но часто ей хотелось остановить, задержать какую-то минутку, ощущение, которым она любовалась. Она брала мою записную книжку, ставила дату и писала: «Вот ваша Вера. Вагон. Путешествие. Ваша Вера». В другой раз она написала мне: «Я сегодня вас ужасно, невероятно люблю. Милый мой и любимый. Люблю, люблю. Как я бы хотела всю жизнь быть с вами. Но чувствую, что-то должно случиться, а что – не могу сейчас понять».

В тот день, когда Вера написала мне этот листок, мы были в полях, далеко от вагонов, так что кругом ничего не было видно, кроме пустого поля и снега, покрытого корочкой, затвердевшей под ветром и солнцем. Мы шли без дороги, по целине. Я обнял Веру; она поскользнулась; я не успел поддержать ее и упал вместе с ней. У меня сразу стало сухо в горле; я стал целовать Веру не помня себя. Не мне, а ей бы следовало испугаться; но Вера мне отвечала, как всегда. Борьба была между мной и мной же самим. Я сжал в руке ледяной комочек и заставил себя встать. Вера сидела в снегу растрепанная, раскрасневшаяся и улыбающаяся.

Ночью я проснулся от приступа неистовой ревности. Голос Розая слышался рядом с нашим вагоном. Я бросился в дверь, готовый на все. Я даже Веру не помнил и рванулся к черной фигуре, которая шла мне навстречу. Это был часовой. Он остановился и вытянулся.

– Что такое тут происходит? – резко спросил я.

– Капитан Розай уезжает, команда пошла его провожать, – доложил часовой.

– Куда уезжает?

– Совсем от нас переводится, – сказал часовой, – разве вы не слышали?

– Да, да, – сказал я и вернулся в вагон, задыхаясь от волнения. Верина шинель висела на гвоздике. Вера спала у себя под нарами. Если бы Вера сбежала с Розаем, я был бы безмерно несчастлив, но, может быть, счел бы это удивительным ходом и любил бы ее еще больше. Кажется, мне почти было жаль, что так не случилось.

Я сел один у огня и до утра просидел с какой-то тоскливой грустью по своему одиночеству, по себе самому. Я вспомнил о своих удушьях; они не повторялись у меня больше. Что-то и в них показалось мне милым, уютным и навсегда утраченным.

## XIX

Я сидел в избушке, построенной вместо вокзала, в пустой и теплой комнате, куда только мимоходом заходили железнодорожники с разъезда. Я ждал Веру, почитывал Гёте, курил, смотрел в окно, как тают сосульки под крышей, и прислушивался ко всем шагам.

Утром, еще на нарах, у меня был разговор с Ниной Алексеевной.

– Не знаю, за что так ненавидят вас в этой теплушке, – сказала Нина Алексеевна.

– Неужели ненавидят? Я тоже не знаю за что, – сказал я безо всякого интереса.

– Вы, наверное, и не замечаете, – сказала Нина Алексеевна.

– В самом деле не замечаю, – сказал я.

– Вы их не видите, вас целыми днями нет в вагоне. А когда вы исчезаете вместе с Верой, Левит изображает все то, что вы, по его мнению, с ней там делаете. Вы не знаете, как они гогочут. Они вас называют юродивым. А Галопова выступает с рассказами. Она подсматривает за вами, – сказала Нина Алексеевна.

– Боже мой, да и пусть их говорят, – ответил я.

– А я не могу этого выносить. Они в каком-то сладострастном возбуждении следят за вами. Я в жизни моей не слыхала такого количества гнусностей. И главное, вся их ненависть обрушивается на меня, потому что я вмешиваюсь и прекращаю эти представления, – сказала Нина Алексеевна.

– Мой друг, я в отчаянии, что вы подвергаетесь таким неприятностям из-за меня, – сказал я.

– И ваша Вера тоже хороша, когда за вас заступается. С ней ведь не стесняются. Ей сказали, что вы юродивый, а она отвечает: «Нет, это такой хороший, милый человек», как будто вы земский врач или учитель, – сказала Нина Алексеевна с досадой.

– Она говорит как умеет, я думаю, – сказал я.

– Не сердитесь на меня, но я больше не могу оставаться в этом вагоне. Мне обещали место в другом, и я сегодня туда перейду, – сказала Нина Алексеевна.

– Мне бесконечно грустно лишиться вашего общества, но я не смею возражать, если вам так неприятно здесь, – ответил я.

– Да я совершенно уверена, что вы ни разу не зайдете навестить меня, – сказала Нина Алексеевна.

Может быть, вагонные сплетни действительно дошли до неприличия, но что мне было делать? Я ничего не умел придумать и только сказал Вере, что буду выходить за час до нее, чтобы наши совместные исчезновения не были так демонстративны. Потому-то я и сидел на вокзале. Но Вера пришла, не дождавшись условленного времени.

– Вы знаете, Верочка, что Нина Алексеевна от нас уходит? – спросил я.

– Ах, я очень рада, – сказала Вера.

– Почему вы так рады? Нина Алексеевна – мой друг. И к вам она прекрасно относится, – сказал я.

– Может быть, вам она друг, а мне совсем не друг, – ответила Вера. – Мне всегда обидно смотреть, как вы с ней разговариваете. Мне вы только твердите про любовь, а все интересные разговоры у вас с ней. Я слишком глупа для вас.

– Верочка, – сказал я, – что бы я там с ней ни говорил, люблю-то я все-таки вас, а не ее.

В полях было ветрено и солнечно. В стороне стояла рощица.

– Мы ни разу там не были, – сказала Вера.

В рощице и в узком овраге, куда она продолжалась, было совсем тихо. Снег огромными толстыми хлопьями лежал на ветках, и низкие молодые елочки стояли как белые пирамиды. А солнце насквозь просвечивало каждую веточку.

– Из этой рощи нельзя уйти, – сказал я.

– Нельзя, – сказала Вера, как эхо.

Я к ней повернулся. Она улыбнулась и заплакала и сказала мне:

– Милый, как я люблю вас.

Я сжал ее так сильно, что сам задохнулся. Я был так потрясен, как будто весь мир вокруг меня рушился. А Вера была мила и согласна – вот и все.

– Я знала, что сегодня особенный день. Я знала, что сегодня так будет, – сказала Вера. – А ты знал?

– Вера, я только и знаю в мире что тебя. Ты, ты, ты, – сказал я.

Вера собрала сухой букетик на талом снегу, чтобы приобщить его к своим сувенирам – на память о самой счастливой и сквозной роще. Мы снова ходили по солнечным и снежным полям, проваливаясь на весеннем насте. Я подумал, что в этом возвращении к природе, во всех этих рощах, полях и в весне есть какие-то черты того же восемнадцатого века, какого-то руссоизма, наивного и оправдывающего любую жизнь.

Вера пошла вперед; я снова остался на час на вокзале. Я просидел там, почти не двигаясь. В темной, тесной комнатке не было ни души. Стало совсем темно, когда я подошел к вагону. Я встал было на подножку и остановился. Внутри пели. С улицы не слышно было ни согласного вскрикивания, ни фальши. Голоса показались мне стройными, девические – звенящими, мужские – нежными. Пели, против обычая, не куплеты из кинокартин, а русскую песню, которая потом навсегда связалась для меня с Верой:

Средь полей широких  
Я, как мак, цвела,  
Жизнь моя отрадная,  
Как река, текла.

В хороводах и кружках,  
Всюду милый мой  
Не сводил с меня очей,  
Любовался мной.

Все подруги с завистью  
На меня глядят.  
«Что за чудо-парочка», —  
Старики твердят.

А теперь любимый мой  
Стал совсем другой,  
Все те ласки прежние  
Отдает другой.

Чем она красавица,  
Чем лучше меня?  
Отбирает милого  
Друга от меня.

Помоги, родная мать,  
Соперницу сгубить  
Или сердцу бедному

Запрети любить.

«Ах, родная моя дочь,  
Чем тебе помочь?  
Как сумела полюбить,  
Так сумей забыть».

## XX

В этот вечер все почему-то легли спать очень рано. Вера первая скрылась под нары. Фонарь горел. По углам еще бормотали. Я вынул книжку и пристроился к фонарю.

Меня всего подкинуло. Фонарь закачался ровно и быстро, как метроном, и длинное пламя высунулось, облизало стекло и оставило на нем черные жирные полосы копоти. Ударил разрыв, какой-то негромкий, глуховатый, смешанный с треском разламываемого дерева. Началась бомбардировка разъезда. Летчик летал невысоко и метал зажигательные бомбы прямо в наш эшелон.

Мы не сразу опомнились и поняли, что происходит. Асламазян первый крикнул: «Бомбардировка!» Капитанша с воплем бросилась в дверь. Все тоже ринулись. Двери не поддавались. Левит бежал по людям с выражением такого отчаяния, что у меня задрожали колени. На ходу он шапкой спихнул фонарь. Вера метнулась в темноте, как будто ветром ее сдуло, схватила меня за руку и кинулась к выходу. Асламазян возился с дверью. Она наконец открылась. Левит выпрыгнул первым и бежал по снегу через холмик в ложину. Вокруг него бежали люди со всех вагонов. Было тихо, все молчали, проваливаясь в снег. Вагон опустел. Асламазян взял маленькую Лариску, которая крепко спала, и пошел искать капитаншу. Я остался один.

Я был в отвратительном, самом животном страхе и с трудом заставил себя не бежать за другими. Я надел шинель и сел к печке, которая еле горела. Разрывов не было больше, но гул мотора еще раздавался с воющим треском. Потом послышался пулемет. Я сжался, стиснул колени, вдавил в себя локти, как будто это могло меня спасти. Это был настоящий, жестокий страх смерти. Там, в моих удушьях, была какая-то мысль. Здесь ее не было. Я боялся стен, которые могли обрушиться и раздавить меня.

Стало тихо, но страх от этого только натягивался, как струна. Я вздрогнул, когда дверь вагона раскрылась. Вера бросилась ко мне.

– Ты боишься, Верочка? – спросил я.

Вера сначала не могла отвечать, потом лихорадочно быстро заговорила, упрасывая меня сейчас же уйти отсюда и на ночь спрятаться с ней в деревне.

Звук мотора снова послышался и затих. «Заход», – подумал я.

– Что ты, Верочка, кто же нам разрешит уйти? – сказал я.

Потом раздался неистовый треск, а Вера исчезла так внезапно, что я с удивлением огляделся. Бомба попала наконец в один из вагонов, шагов за сорок от нас; но это была уж последняя. Вскоре все понемногу начали собираться в вагоне. Я вышел искать Веру. Она стояла такая измученная, что ноги ей не повиновались. Она снова стала просить меня уйти с ней в деревню.

– Верочка, все уже кончилось, и притом это смешно так спастись, – сказал я.

Вера горько расплакалась.

– Ты просто не хочешь со мной идти, ты меня стыдишься, – сказала Вера.

– Вздор, – ответил я и повел ее в теплушку. Там стояло страшное возбуждение. В соседних вагонах были убитые. Никто не решался лечь. Поминутно выбегали слушать, не гудит ли снова мотор.

– Нина Алексеевна цела? – спросил я Асламазяна, появившегося последним.

– Жива-здорова, – сказал он и объявил приказ начальства: всем людям немедленно покинуть вагоны и до особого распоряжения расселиться в деревне Каменке.

Вера вся вскинулась. Усталость ее сразу исчезла. Она принялась лихорадочно собираться.

– Ты идешь со мной, – сказала она.

– Конечно, с тобой, Верочка, – ответил я.



Мы ушли после всех. Была уже темная ночь. Меня лихорадило, под холодным ветром я чувствовал себя совсем больным. Вера меня вела. Мы постучались в избушку с продавленной соломенной крышей.

## XXI

Маленькая, с румяным лицом, вечно в платке, вечно перетаптывающаяся с места на место, похожая на корявое дерево, наша хозяйка Анна. Крошечная комнатка в два окна, некрашенный стол, две лавки, рундук, печь и хоры и земляной, в ухабах и колдобинах, пол, в углу икона – вот наша изба. Мы с Верочкой жили на нарах, называемых здесь почему-то хорами, возле печки, на постели, устроенной из наших шинелей, пледа и полевой сумки с книгами, которая служила подушкой. Вера устроила наше ложе и так любовалась им, как будто видела в нем свой портрет. В той же комнатке вместе с нами жила хозяйка с маленьким шестилетним сыном Сашей, который пел целыми днями, тоненько, как комарик, перевирая все слова, но никогда не фальшивя в мелодии. Вера учила его песенкам. Из окон мы видели скаты холмов и в солнечные дни смотрели, как бегут по ним тонкие струйки потоков. Эшелон стоял за холмами.

На столе появилось походное зеркальце из моего несессера и Верины коробочки, пудреницы и флаконы. Моя фотография тоже выехала на свет и была прислонена к зеркалу. Я сидел за столом как хозяин. Вера кружилась по комнатке, всю ее заполняя собой, расставляла, раскладывала и всякую минуту подбегала ко мне. Потом одевалась как можно наряднее, делала себе высокую прическу и садилась рядом со мной. Я брал ее за плечи; она клала голову мне на грудь.

– Тебе нравится, как я все устроила? – спрашивала Вера.

– Ты мне нравишься, ты больше всего на свете, – отвечал я.

Вера этим удовлетворялась.

– А тебе не скучно так жить? – спросил я.

– Ты меня только люби, тогда не будет скучно, – сказала Вера, но неожиданно прибавила: – Пусты меня покатайся верхом.

– Как это – покатайся верхом? – спросил я со страшным удивлением.

– Меня приглашает один казак.

– Да откуда же ты его взяла? – спросил я.

– Мы познакомились на станции.

– Когда же?

– Во время бомбардировки. Мы вместе спасались.

– Ну, тогда, разумеется, поезжай, – сказал я.

– Мне очень хочется, – сказала Вера и быстро поцеловала меня в губы.

– Поезжай, – ответил я.

– Только ты не думай ничего дурного, – сказала Вера и снова меня поцеловала.

– Можешь ехать, – ответил я.

– Если тебе неприятно, я не поеду, – сказала Вера.

– Я не принимаю никаких жертв, – ответил я.

– А я все придумала, милый, никакого казака нет, я хочу, чтобы только ты был со мной, – сказала Вера и крепко прижалась ко мне.

Вечерами мы зажигали светец. Приходил Асламазян. Мы усаживались к столу. Вера одной рукой играла в карты с Асламазяном, а другой рукой обнимала меня. Мальчик пел, как сверчок. Аннушка пряла. В глухой избе, и рядом со мной, была живая Манон Леско, в красном шелковом платье, с высокой прической, придававшей ей сходство с Марией-Антуанеттой.

У меня был издавна какой-то смутный образ Марии-Антуанетты, не то придуманный, не то прочитанный или где-то увиденный: Мария-Антуанетта стоит у окна, спиной к залу, и с безмерным напряжением смотрит, как бесится народ перед дворцом. Потом она резко поворачивается – ее лицо все мокро от пота. Существо от пламени, вне формы, все страсти с ясностью отпечатываются на изменчивом, подвижном лице.

Значит, есть и в восемнадцатом веке – таком совершенном и обреченном смерти – черты юности и несовершенства, которые тянутся в будущее и разрешаются в романтизме.

## XXII

Свещец гасили рано. Мальчик и Аннушка неслышно засыпали на печке. В избе было жарко. Мы задыхались на хорах. Соломинки прокалывали плед и приклеивались к телу. Вера становилась какой-то другой; я думал, что тут она по-настоящему мне открывается. Что-то растворялось в этой темноте, в горячем и влажном воздухе. Тоненькая девочка исчезала. Мне казалось, что Вера становится большой и строгой. Кровь у меня прилиwała к вискам и начинала больно стучать. Удушье подступало ко мне; сердце колотилось так, что я рукой был должен держать его.

В середине ночи мы начинали говорить.

– Я все хочу знать о тебе, – говорил я.

Вера сама о себе мало знала. У нее были только отрывки, осколки, которых она не умела собрать. Они стремительно сменялись и смешивались. Какой-то остренький кончик застревал в каждом рассказе. Я прикасался к юности. Дешевые кинематографы, где стоя дожидаются начала сеансов. Подруги, с которыми как-то не выходило никакого веселья. Лестницы с тусклым электричеством, где потихоньку красили губы. Томление, не разрешающееся ничем. Бедные пирушки, которые кончались почти оргиями, тоже бедными. Записочки, мальчики, коридоры на театральных курсах. Мальчик Лева в коротеньком старом пальто, который вдруг преобразился в новом костюме и поцеловал Веру. Потом сразу замужество с пожилым соседом, капризы, обиды и что-то даже совсем нехорошее: муж был со странностями.

– Он меня почему-то щипал, – рассказала мне Вера.

Начало войны и вереница молниеносных романов, начинающихся всегда с любопытства.

– Разве ты никого из них не любила? – спросил я.

– Любила, – сказала Вера, – только теперь я думаю, что не любила. С тобой у меня совсем не то. И никогда я не была так счастлива, как с тобой.

– А твоего второго мужа, такого красивого, Алешу, разве ты не любишь?

– И Коку?

– Ах да, ведь их было двое.

Я подумал, что оба могли быть веселыми товарищами Вере и напрасно стали любовниками. Я не спросил Веру, как она расставалась со своими возлюбленными. Наверное, ее грубо бросали. А может быть, она сама ускользала без объяснений.

– Я только тебя одного любила и люблю на всю жизнь, – сказала Вера.

Я задохнулся. Волосы Веры приклеивались к моим губам. Она опять показалась мне большой и строгой.

– Расскажи мне про свою семью, – спросил я.

Теперь я думаю, что в этом рассказе Вера лучше видна, чем в собственных своих осколках и отрывках. Понемногу, в несколько ночей, она рассказала мне так.

Бабушка Веры – крестьянская девушка где-то в ярославской деревне. Когда ей было четырнадцать лет, ее изнасиловал в лесу неизвестный офицер. Она родила Верину мать.

С незаконным ребенком в деревне нельзя было жить. Бабушка (ее звали Катей) уехала в Петербург, а девочку оставила тетке, ярославской бабе-торговке, злой и жадной. Девочка была несчастлива. А сама Катя стала, насколько я понял, чем-то вроде шантанной певицы и, как видно, пошла по рукам. Судьба русской гризетки известна. Сорока лет с небольшим, уже на памяти Веры, она умерла от чахотки в больнице, брошенная своим последним любовником, каким-то мальчиком-студентом. Перед смертью пела на всю палату молодым и звонким голосом. Вера запомнила ее капоты с большими разрезами на рукавах. Когда бабушка лежала, закинув руки, рукава раскрывались, как крылья.

Судьба матери проще. После скучного и бедного детства с теткой-торговкой она каким-то способом попала в город, где-то училась (это было в первые годы революции), работала на табачной фабрике, потом стала телефонной барышней. Артистизма в ней, может быть, не было, но другие черты гризетки налицо, в особенности – слабое сердце. Мимоходом появляется здесь ее первый муж – Верин отец. Он, видимо, как-то прошел стороной, мимо жизни своей жены и дочери, не устроил семьи, не оставил ни в чем отпечатка. Вообще для Веры отец как-то нехарактерен; ее родословная строится только по женской линии, в династии русских гризеток, которую Вера завершает и возводит на новую ступень. Отец – Алексей Иванович Исаев, бывший унтер-офицер времен германской войны, по профессии ювелир, представляется мне сильным, немолодым и молчаливым, несколько даже мрачным мужчиной, способным на большие чувства. Он был несчастлив. Вера ничего не умела о нем рассказать. Помнила только, что, когда мать стала гулять, отец начал пить, несколько раз бросался в бешенстве на жену, но никогда не бил. Он умер как-то неожиданно, словно для того, чтобы уступить место другим. Его собственная роль оказалась второстепенной и очень короткой.

За ним последовали другие. Вера из дочернего пиетета их не перечисляла. Только ради экзотики упомянула о негре из какого-то джаз-банда. Мать писала дневник, а Вера потихоньку его читала.

Второй муж, совсем еще юноша, какой-то счетовод, усыновил Веру. Мать была теперь с ним в разводе.

– Знаешь, – сказала Вера, – он такой молодой. Для меня будет ужас, если он в меня влюбится.

К утру изба выстывала. Светало скупое и медленно. Вера снова становилась тоненькой девочкой и засыпала у меня на плече. Выражение стремительности даже во сне не исчезало с ее лица.

## XXIII

Днем я не помнил ночных разговоров. Они как-то сами собой исчезали вместе со всем, что я знал и помнил раньше. Мне казалось, что только то и возможно в мире, что было вокруг меня, – любовь, изба под соломенной крышей и снежные турдейские холмы, где-то там сливающиеся с небом.

Я вставал раньше всех. Мальчик и Аннушка тихо лежали на печке. Вера еще спала. Я вышел к околице. Утро было холодным и мгlistым. Серебряные трубочки заиндевело́й соломы лежали на крыше. Все травинки, кустики и дальние деревья стояли белые, покрытые инеем.

Было тихо и пусто. Я боялся глубоко вздохнуть, чтобы не нарушить этой тишины. Незаметно – впервые без Веры – я зашел куда-то в поля. Одиночество стало мне непривычным. Поля показались мне новыми – широкими и светлыми, как будто раньше я их не видел. Я сам не заметил, как ушел далеко в сторону от деревни, к той самой роще, где Вера собрала свой последний букет.

Что-то вроде приступа как будто долго сдерживаемой и наконец нахлынувшей тоски началось у меня. «Неужели я совсем потерял себя, – подумал я, – и никогда не увижу себя прежним, не смогу больше соединять и связывать в себе кусочки мира так, чтобы возникал особенный, мой собственный мир, с которым я повсюду и по-всякому сумею жить». Я вспомнил свои прежние мысли о счастье: раньше оно представлялось мне каким-то гётевским, ровным и бесконечным, каким-то итогом знания, творчества и свободы. Все это исчезало рядом с Верой.

«В романтизме другое счастье, – подумал я. – Романтизм разрывает форму, и с него начинается распад стиля. Тут юность и бунтарство. А бунтуют – мещане. Великий и совершенный Гёте с пренебрежением относился к романтикам, потому что видел в них мещан. Во всякой юности есть романтизм. И счастье здесь быстрое, преходящее, ни с чем как будто не связанное; не знаешь, как удержать его. В романтизме нет тоски, потому что он не обращается к прошлому; у него и нет прошлого. Вместо тоски в нем томление: предчувствие или ожидание того, что будет».

Я все утро ходил по полям. Когда я вернулся в избу, Вера не встала и не бросилась мне навстречу, как она делала всегда. Все мои мысли куда-то исчезли. Я с тревогой вошел в комнату.

– Ты, кажется, плакала, Верочка? – спросил я.

– Нет, – сказала Вера.

– Что-нибудь случилось плохое? – спросил я.

– Ничего не случилось, – ответила Вера, отворачиваясь, так что я поцеловал ее в затылок вместо щеки. – За тобой заходил Асламазян.

– Зачем?

– Не знаю. Вызывают в эшелон.

– Должно быть, поедем отсюда, – сказал я. – А что же, Асламазян зайдет еще раз или мне самому нужно куда-нибудь идти?

– Зайдет, – сказала Вера и расплакалась.

– Вера, что-то произошло у тебя с Асламазяном, – сказал я.

– Нет, – ответила Вера сквозь слезы.

Я встал и отошел к окну.

– Вера, я тебя очень прошу: перестань плакать и Расскажи мне все, что тут было без меня, – сказал я.

– Зачем ты меня оставляешь одну? – сказала Вера.

– Господи, да не из-за этого же ты плачешь! Ты спала; я уходил совсем ненадолго, – сказал я с раздражением.

– Я знаю, почему ты ушел, и знаю, где ты был, – сказала Вера.

– Тут и знать нечего, – сказал я.

– Тебе безразлично, что я одна, – сказала Вера и неожиданно стала смеяться.

– Да ты совсем не одна была; сама же говоришь, что приходил Асламазян, – ответил я.

– А ты не воображай, что Асламазян тебе такой друг. Он хотел меня поцеловать, – сказала Вера.

– Я в этом не сомневался. И кроме того, я вполне уверен, что ты сама его целовала, – сказал я с видом полного равнодушия.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.